

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЭКСПРЕССИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КОНЦА XIV-XV в.

1

Первоначально, в XI-XIII вв., в центре внимания русской литературы стояли поступки человека - именно они описывались и оценивались писателями. Эти поступки рассматривались главным образом с точки зрения того официального положения, которое занимал человек на лестнице феодальных отношений. Характер человека, как мы уже отмечали, был "открыт" в литературе лишь в начале XVII в. в силу резкого обострения классовой и внутриклассовой борьбы и накопившегося социального опыта на определенной стадии развития феодализма. Однако раньше, чем был открыт характер человека, была открыта психологическая жизнь человека. Психологические побуждения и переживания, сложное разнообразие человеческих чувств, дурных и хороших, сильных, экспрессивно выраженных, повышенных в своих проявлениях, стали заполнять собою литературные произведения примерно с конца XIV в. и с особой отчетливостью проявились в произведениях Епифания Премудрого.

Для каждой эпохи и для каждого стиля существуют в литературе жанры, в которых эпоха и ее стиль отражаются наиболее ярко. Для конца XIV - начала XV в. таким самым "типическим" жанром явились жития святых. В этом жанре отчетливее всего проявились черты нового в изображении человека и свойственная своему времени ограниченность.

Самое характерное и самое значительное в изображении человека в конце XIV-начале XV в.- это своеобразный "абстрактный психологизм". Если в литературе XII-XIII вв., как мы уже видели в свое время, изображались по преимуществу поступки людей и эти поступки характеризовались с точки зрения норм феодального поведения, то теперь в центре внимания писателей конца XIV-начала XV в. оказались отдельные психологические состояния человека, его чувства, эмоциональные отклики на события внешнего мира. Но эти чувства, отдельные состояния человеческой души не объединяются еще в характеры. Проявления психологии не складываются в психологию. Связующее, объединяющее начало - характер человека - еще не открыто. Индивидуальность человека по-прежнему ограничена прямолинейным отношением ее в одну из двух категорий - добрых или злых, положительных или отрицательных. Психологические состояния как бы "освобождены" от характера. Они могут поэтому меняться с необычайной быстротой, достигать невероятных размеров. Человек может становиться из доброго злым, при этом происходит мгновенная смена душевных состояний.

Новое понимание человека стоит в непосредственной связи с влиянием церковной идеологии, особенно сильно сказавшимся во всех литературных жанрах именно этого периода.

Согласно ортодоксальным взглядам церкви, человек обладает свободой воли, он обладает свободой выбора между добром и злом. Выбрав добро, он может последовательно идти по пути добра и достичь святости; выбрав зло - пойти по пути (тоже последовательно) зла. Каждый человек может решительно изменить свой путь.

Правда, последовательный праведник, вкусив истины, грешником не становится, но грешник на любой ступени своего падения может покаяться и стать сразу же праведником. Примерами таких превращений полна церковная литература XIV-XV вв.- превращений полных, не знающих компромиссов. Ра всё зависит от решения человека выбрать добро или зло,- он до конца последователен в этом. Он либо до конца свят, либо до конца зол. В первом случае он свят до полной абстрактности, во втором - всегда может резко измениться, стать добрым. Вот почему в литературе этого времени нет характера. Характер - это нечто более или менее устойчивое в человеке; характер может развиваться, изменяться, но он не может "превращаться" только в зависимости от решения человека. "Превращения" же и чрезвычайная неустойчивость психологических состояний - характерная черта житийной литературы этого времени. Все психологические состояния, которыми так щедро наделяет человека житийная литература конца XIV-XV в.,- это только внешние наслоения на основной, несложной внутренней сущности человека, доброй или злой, определяемой решением самого человека встать на тот или иной путь. Все психологические состояния - это как бы одежда, которая может быть сброшена или принята на себя. В Житии Стефана все жители Перми ведут себя диаметрально противоположным образом до крещения и после него. Их психологические состояния и до и после крещения описаны резко различными чертами, они обуреваемы совершенно противоположными чувствами. При этом автора Жития Стефана Пермского отнюдь не смущает то обстоятельство, что такая перемена произошла в целом народе и произошла без всяких промедлений. Прямолинейность характеристики объясняется здесь ее несложностью; все зависит здесь от одного акта крещения: до крещения Пермь описана целиком отрицательными чертами, после - целиком положительными. Загадочным с психологической (нашей) точки зрения остается только сам акт крещения: как решили они креститься. Заслуга здесь приписывается и Стефану Пермскому, и самим жителям Пермской земли, но в конечном счете это несомненное "чудо". Вот почему чудо в житийной, христианской литературе - сюжетная необходимость. Чудом заменяется психологическая мотивировка. Только чудо вносит движение и развитие в биографию святого. Одна свобода выбора между добром и злом определить развитие личности еще не может.

Победа Стефана над язычниками - победа прежде всего психологическая. Злые и нетерпимые язычники обращаются в кротких и послушных последователей Стефана. Они "восхотели" креститься, "в сласть" послушали его проповедь, "с радостью" принимают его слова. Описание нового психологического состояния язычников и радости Стефана занимает несколько листов жития последнего.

Психологические "превращения" язычников потому и возможны, что у них нет никакой индивидуальной психологии, никаких постоянных качеств характера. Они потому злы, нетерпимы, потому так яростно нападают на Стефана, гонят его, питают к нему ненависть, что они язычники. Как только они крестятся, сердца их наполняются веселием, они с умилением слушают того же Стефана.

Перед нами проходит калейдоскоп различных психических состояний, различных душевных движений, страстей, чувств, всегда сильных до чрезмерности, никогда не останавливающихся на полпути, всегда доведенных до наиболее резкого выражения. И это возможно отчасти потому, что психология всех действующих лиц выражена очень неясно. Авторы описывают психические состояния, игнорируя психологию

человека в целом, его характер. Чувства как бы живут вне людей, но зато проникают все их действия, смешиваются с чувствами автора, который постоянно стремится их выразить, придать эмоциональность своему повествованию.

Если в XII-XIII вв. изображения людей статичны и монументальны, напоминают собой геральдические фигуры, взяты как бы в их "вечном" смысле, то в житийной литературе конца XIV- начала XV в. всё движется, всё меняется, объято эмоциями, до предела обострено, полно экспрессии. Авторы конца XIV-XV в. как бы впервые заглянули во внутренний мир своих героев, и внутренний свет их эмоции как бы ослепил их, они не различают полутонов, не способны улавливать соотношение переживаний. Писатель впервые видит внутренний мир человека; но он видит его пока еще "младенческим глазом", для которого раскрыты краски, вся яркая пестрота огромного мира, но для которого эти краски еще не объединены в предметы, в объективно существующие реалии.

С увлечением неопитов писатели этого времени живописуют сложные переживания личности. Пораженные величию того, что они увидели, они пишут о своем бессилии выразить всю святость подвигов своего героя. Описать величие деяний святого так же невозможно, утверждает Па-хомий Серб, как нельзя измерить широту земли и глубину моря, сосчитать звезды на небесной высоте или исчерпать вечно текущий источник, непрерывно пополняемый из земли¹. Писатель сравнивает себя с водолазом, ищущим жемчуг на дне морском².

Тема неизреченности, невыразимости божественной премудрости - обычная тема в устах писателей конца XIV- начала XV в. "Временное" и конкретное слово бессильно выразить "вечные" и абстрактные истины, вскрыть непреходящий смысл событий. Писатели жалуются на свою грубость, "худость", невозможность достойно похвалить святого. Епифаний пишет, обращаясь к Стефану: "...тем же похвалити тя груду, но не умею, елика, бо изрицаю, и та суть словеса скудна, худа бо, по истине худа и грубости полна; но обаче приими сия, отче честнейший, яко отец немована от уст детищу немующу" и т. д.³

Авторы как бы не могут удержаться от выражения нахлынувших на них чувств. Описав погребение Дмитрия Донского, составитель "Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русь-ского", патетически восклицает: "О страшно чудо, братие, и дива исполнено! О трепетное видение и ужас обдержаше! Слыши, небо, и внуши земле! Како въспишу или како възглаголю о преставлении сего великаго князя? От горести душа язык связается, уста загражаются, гортань премолкаеть, смысл изменяется, зрак опусневаеть, крепость изнемогаеть"⁴.

Бессильный выразить свои возвышенные представления, автор стремится передать лишь свое отношение к ним, охарактеризовать свои чувства, возбужденные жизнью святого, извлекает из них нравоучительный смысл, учит и проповедует больше, чем передает факты. Факты в житии Стефана Пермского могли бы уместиться на одной пятидесятой произведения; всё остальное, т. е. остальные сорок девять частей, посвящено взволнованным размышлениям о жизни святого. С начала и до конца произведения автор пишет в повышенно-эмоциональном тоне, он находится в восторге и напряжении, повествует на самых высоких нотах, и это создает ту

эмоциональную атмосферу, которая нужна ему для культивирования христианских чувств, умиления перед христианскими ценностями...

Авторы стремятся писать "невидимо на разумных скрыжалех, сердечных", а не на "чувственных хартиах"⁵.

Невыразимость чувств, невыразимость высоты подвигов святого органически связаны со всей стилистикой житийных произведений - с их нагромождением синонимов, тавтологических и плеонастических сочетаний, неологизмов, эпитетов, с их ритмической организацией речи, создающей впечатление бесконечности чувств. Всё это призвано внушить читателю грандиозность и значительность происходящего, создать впечатление его непередаваемости человеческим словом. Конкретные значения стираются в этих сочетаниях и нагромождениях слов, и на первый план выступает экспрессия и динамика. Слово становится неконкретно, "невесомо".

До крайней степени экспрессии доводятся не только психологические состояния, но и поступки, действия, события, окружающиеся эмоциональной атмосферой. Стефан Пермский сокрушает идолов, не имеет "страхования", он сокрушает их "без боязни и без ужаста", день и ночь, в лесах и в полях, без народа и перед народом. Он бьет идолов обухом в лоб, сокрушает их по ногам, сечет секирою, рассекает на члены, раздробляет на поленья, крошит на "иверение", искореняет их до конца, сжигает огнем, испепеляет пламенем...⁶

Повышенная эмоциональность отличает и поступки толпы язычников. Пермь нападает на Стефана "с яростию, и с гневом, и с воплем, яко убити и~ погубити хотяще, ополчишася на нь единодушно, и акы лики ставше окрест его, напрузаа напругоша луки своя, и зело натянувше Я на него, купно стрелам смертоносным сущим в луцех их, и прямолучными стрелами своими со-стреляти его жадаху, и тако прочее смерти его предати хотяху"⁷. Все чувства обладают невероятной силой. Любовь к Кириллу Белозерскому влкла к нему Пахомия Серба, подобно железной цепи⁸, дружба Сергия Радонежского и Стефана Пермского связывает их с такою силою, что они чувствуют приближение друг к другу на далеком расстоянии⁹.

Церковная богословская литература, оригинальная и переводная, дает некоторые пояснения к тем явлениям, которые мы отметили для литературы художественной. В сочинениях основоположников исихазма, Григория Си-наита и Григория Паламы, развивалась сложная система восхождения духа к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучшение, раскрывалась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек должен был победить свои| страсти и отрешиться от всего земного, в результате чего он достигал экстатического состояния созерцания, безмолвия. В богословской литературе встречались сложные психологические наблюдения, посвященные разбору таких явлений, как восприятие, внимание, разум, чувство и т. д. Богословские трактаты различали три вида внимания, три вида разума, учили о различных видах человеческих чувств, обсуждали вопросы свободы воли и давали довольно тонкий самоанализ.

Существенно, что эти трактаты не рассматривают человеческую психологию как целое, не знают понятия характера. Они пишут об отдельных психологических состояниях, чувствах и страстях, но не об их носителях. Чувства, страсти живут как

бы самостоятельной жизнью, способны к саморазвитию. Несколько позднее Нил Сорский на основании сочинений отцов церкви (Иоанна Лествичника, Филофея Синаита и др.) различал пять периодов развития страсти: "прилог", "сочетание", "сложение", "пленение" и собственно "страсть"¹⁰. Он дал каждому из этих периодов подробную характеристику, основанную в значительной мере на конкретном материале. Таким образом, чувства человека рассматривались Нилом Сорским независимо от самого человека. Страсти обладали у него способностью к саморазвитию. Это всё та же психология без психологии, изучение психологических состояний самих по себе, вне единого целого, как чего-то постороннего человеку. Не случайно страсти, "лукавые помыслы", персонифицируются, сравниваются в литературе XV в. со зверями: "лютый зверь вражда", "сердцесне-дивый медведь" и т. д. Сердце злого человека - это звериное логово, "гнездо злобы". Ясно, "душа" человека в этот период - это нет та душа, которая существовала в представлениях русских людей XI-XII вв., когда она отождествлялась с дыханием и считалась отлетевшей от человека в каждом его обморочном состоянии¹¹.

Поступки, действия человека продолжают, как и раньше, в XII- XIII вв., играть важную роль в характеристике человека, в строении его образа. Однако, в отличие от летописных изображений людей, в житийной литературе изучаемого периода первостепенное значение приобретает даже не сам поступок, подвиг, а то отношение к подвигу, которое выражает автор, эмоциональная характеристика подвига, всегда повышенная, как бы преувеличенная и вместе с тем абстрактная. Преувеличиваются самые факты, зло и добро абсолютизированы, никогда не выступают в каких-либо частичных проявлениях. Только две краски на палитре автора - черная и белая. Отсюда пристрастие авторов к различным преувеличениям, к экспрессивным эпитетам, к психологической характеристике фактов. Весть о смерти Стефана "страшная", "пристранная", "пламенная", "горькая" и т. д.¹²

Если автор употребляет сравнение, он не заботится о том, чтобы оно-могло быть конкретно, зрительно воспринято. Для него важен внутренний смысл событий, а не его внешнее сходство. "По истине бо тех суть красны ноги, благовествующих мир"¹³, - говорит автор, не задумываясь над тем, как воспримут его читатели образ "красивых ног" тех проповедников, которые "благовествуют мир". "Красивые ноги" - это только абстрактная идея, но не конкретный образ. Даже постройка церкви - дело конкретное и "материальное"- превращается в психологический акт. Епифаний говорит о пермской церкви Стефана: "...юже въздвиже чистою совестью, юже създа горящим желанием"¹⁴. Стефан, следовательно, строит церковь не руками строителей, а "чистою совестью" и "горящим желанием". Ноги и руки, следовательно, становятся в первом случае абстрактными символами, во втором же реальное строительство совершается без помощи рук - "горящим желанием" и "чистою совестью". Одним из средств этого абстрагирования поступков служит сравнение их с событиями священной истории. Епифаний Премудрый сопоставляет проповедь христианства Стефаном Пермским среди Перми с проповедью Петра, Иоанна Богослова, Матвея, Филиппа, Фомы, Иуды, Симона Зилота Кананитянина, Варфоломея, Андрея, Павла. Одно только перечисление стран, где было проповедано ими "слово божие", занимает 3-4 страницы рукописи. Благодаря этому проповедь Стефана оказывается в ряду событий всемирной истории, имеющих первостепенное значение, но благодаря; этому же она переносится

в какую-то абстрактную область общих судеб человечества и всякая конкретность, сообщение реальных деталей оказываются почти исключенными.

Изобретение пермской грамоты Стефаном обставлено учеными справками относительно изобретателей других грамот. Здесь и в аналогичных случаях писатель становится эрудитом, начетчиком, богословом - "премудрым".

Уподобление героя тому или иному лицу в священном писании становится для автора своеобразной проблемой, когда ему нужно подобрать точную параллель. Автор колеблется, сомневается и перечисляет всех праведников, начиная от Адама: "Ангела ли ты нареку?-спрашивает автор "Слова о житии, и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича",- но во плоти сущи ангелскы пожил еси. Человека ли? но выше человеческого существа дело свершил еси. Первозданного ли (т. е. Адама. - Д. Л.) ты нареку? но той приим заповедь Съдетеля и преступи... Сифа ли ты нареку? но того премудрости ради людие богом нарицаху". "Еноху ли ты подоблю?", "Ноя ли ты именую?", "Авраама ли ты нареку?", "Исаака ли ты въехвалю?", "Израиля ли ты възглаголю?", "Иосифа ли ты явлю?" и "Моисея ли ты именую?"¹⁵, - автор последовательно отвергает каждое из этих уподоблений, так как находит различия в их подвигах. Поступок, действие, деятельность и здесь служат единственным основанием для сопоставлений. Все сравнения человека с теми или иными животными, птицами, предметами идут по линии сравнения его деяний. Сходство внешнего облика не интересует автора, интересует сходство действий, смысла этих действий. Зрительный, конкретный образ человека просто отсутствует.

Волхв, освободившийся от державших его людей, сравнивается Епифанием Премудрым с оленем: "...он же иск очи от них яко елень"¹⁶. Ясно, что образ оленя применен не к самому волхву, но к его действию - к его бегству. Его бегство было такое же быстрое, как и у оленя,- сходство только в этом. Дмитрий Донской - это: "высокопаривый о р е л...", "б а н я мьющимся от скверны, г у м н о чистоте, в е т р плевелы развевая, о д р трудившимся по бозе, т р у б а спящим, в о е в о д а мирный, в е н е ц ь победе, плавающим п р и с т а н и щ е (т. е. пристань.- Д. Л.), к о р а б л ь богатству, о р у ж и е на врагы, м е ч ь ярости, с т е н а нерушима, зломыслящим с е т ь, с т е п е н ь непоколеблема, з е р ц а л о житию... высокий ум, смиренный с м ы с л, ветром т и ш и н а, п у ч и н а разуму"¹⁷. Этот способ характеристики человека чрезвычайно далек нашему художественному сознанию; он целиком объясняется из художественного сознания своего времени: индивидуальность человека абстрактна и неясна, характер человека еще не различается, поэтому сравнивается в человеке не сам человек, а лишь его дело, деяние, поступки, подвиги,- по ним он и судится.

Не случайно святой именуется "воином Христовым", он "подвижник", главное в нем - его подвиги. Святой, как и воин, совершает подвиги, это и есть основное. Вот почему Епифаний Премудрый называет Стефана Пермского "мужественным храбром"¹⁸, т. е. богатырем.

Отсюда то пристальное внимание, которое уделяют агиографы действиям, поступкам. При этом важно выявить значение действия, подчеркнуть его величие, то впечатление, которое они произвели в народе, а не описать его конкретно. Все детали опускаются как несущественные, а само действие оказывается преувеличенным,

преувеличен и психологический эффект его. Детали сохраняются только те, которые способствуют этому эффекту. Отсюда обычные в литературе этого времени нагромождения всяческих ужасов, шумные тирады действующих лиц, различного рода гиперболы. Говоря о том, как жители Перми, "яко зверие дивии", устремились на Стефана, Епифаний перечисляет их оружие, топоры и дреколие, отмечает, что топоры были "остры" и что этими острыми топорами толпа, обступив Стефана "отвсюду", хотела "ссеци его, кличюще вкупе и нелепаа глаголюще, и бес-чинныя гласы испущающе на нь, и окруживше его стаща окрест его, и секырами своими възмахохуся на нь: и бяху видети его промежу ими, яко овца посреде волк"¹⁹.

Всё строится на контрастах: яростная толпа противопоставляется кроткому Стефану, и чем яростнее толпа, тем более кротким кажется Стефан. Эффект действий увеличивается оттого, что они совершаются перед народом, при зрителях. Волхв в Житии Стефана Пермского отказывается войти в костер, испугавшись "шума огненаго", перед всеми своими сородичами: "...народу же предстоящу, человеком собранным, людем зрящим в очию леповидцем"²⁰. В Житии Сергия Радонежского младенец Сергей вопит в утробе своей матери в церкви, во время литургии при многочисленном народе. Его голос слышен по всей церкви. В разыгравшемся затем диалоге между матерью Сергия и молившимися в церкви женщинами обе стороны ведут себя с преувеличенной чувствительностью. Мать "мало не паде на землю от многа страха, и трепетом великим"²¹ была одержима, жены же воздыхают, бьют себя в перси, плачут. Присутствующие мужчины стоят "безмолвиємъ ужасни"²².

Экспрессивность действий подчеркивается длинными речами, которые произносят действующие лица. Эти речи должны изобразить отношение людей к событиям и, главное, их душевное состояние в связи с этими событиями. Они при этом отнюдь не индивидуальны, лишены характерности, изображают чувства абстрактно, с точки зрения автора, а не произносящего их лица. Вот как, например, говорит о своем нежелании войти в пламень вместе со Стефаном пермский волхв: "...немошно ми ити, не дерзаю прикоснутися огню, шажуся и блюду приблизитися множеству пламени горящу, и яко сено сый сухое, не смею воврещися, да не яко воск тает от лица огню, растаю, да не ополею яко воск и трава сухаа, и внезаапу сторю огнем и умру, и к тому не буду, и кая будет полза в крови моей, егда сниду во исление, волшебство мое переиме[т]ин, и будет двор мой пуст, и в погосте моем не будет живущаго". Эту речь волхв произносит трижды, "помятая себе, би-аше челом, и припадаа к ногама" Стефана, "обавляше вину сушу свою, и немощь свою излагаа, суетство же и прелесть свою обличаа"²³.

Прямая речь служит здесь для выражения душевного состояния действующего лица. Она насыщена в произведениях этого времени цитатами из псалмов, в ней произносятся слова молитв, но в ней нет "речевой характеристики" действующего лица. По стилю речь действующего лица не отличается от речи автора, она также абстрактна, книжна, учена, пользуется теми же приемами. Длиннейшие речи могут вкладываться в уста толпы, язычники могут употреблять фразеологию псалмов, эмоционально-хаотическая риторика находит здесь такое же применение, как и во всем произведении в целом.

Новое в изображении человека может быть отмечено не только в житиях святых. Жанр житий только наиболее характерен для этого времени. Черты нового стиля могут быть отмечены в "Задонщине", живописующей события Куликовской битвы "буйными словесы". Сравнительно со "Словом о полку Игореве" "Задонщина" гораздо более абстрагирует и "психологизирует" действие, многие из речей, произносимые действующими лицами, носят условный характер; это не реально произнесенные речи, как в "Слове о полку Игореве". Усилена экспрессивность изложения. Такой экспрессивный характер носит сцена бегства татар, которые бегут, "скрегчюще зубы своими, дерущи лица своя", и произносят длинные, явно вымышленные речи.

Особое значение в развитии представлений о человеке имеет Русский Хронограф - памятник середины XV в., очень близкий по стилю (хотя и не тождественный) русским панегирическим житиям Епифания Премудрого, но имеющий и свои особенности в связи со своим полупереводным характером. Русский Хронограф, как это блестяще доказано А. А. Шахматовым, восходит к Хронографу, составленному в России в 1442 г.²⁴ Пахомием Сербом (Логофетом).

Составитель Хронографа широко воспользовался всеми доступными ему в России материалами по всемирной истории. В качестве источников для своей компиляции составитель использовал вторую русскую редакцию Еллинского летописца²⁵, существование которого уже для XIV в. было доказано А. А. Шахматовым²⁶. Кроме этого, составитель пользовался сербским сборником житий, в который входили "Паралипомен" Зонары, Житие Стефана Лазаревича, сербская Александрия, Житие Стефана Дечанского и Житие Илариона Меглинского. А. А. Шахматов видит источник этой части Хронографа в протографе рукописи б. Московской Духовной академии, № 230. Из другого источника составитель Хронографа воспользовался Житием Саввы²⁷ и Хроникой Манассии (А. А. Шахматов видит последний источник в протографе списка Новгородской Софийской библиотеки, № 1497).

Как доказано А. А. Шахматовым, уже составитель первоначальной редакции Русского Хронографа Пахомий Логофет вставил в нее статьи русского содержания, воспользовавшись для этого русскими летописями²⁸ и русскими историческими повестями. Помимо этих привлеченных материалов, Пахомий Логофет добавил ряд статей собственного сочинения, из них главная - "Повесть об убиении Батыя"²⁹.

Как бы ни были разнородны источники Хронографа, принципы изображения в нем человека более или менее едины.

В Хронографе исторические факты были лишь материалом для литературно занимательного чтения, для моральных выводов. Русский Хронограф в том виде, в каком он вышел из-под пера Пахомия, представлял собою цепь занимательных новелл, имеющих ясно выраженную завязку - экспозицию, в виде предварительной общей характеристики действующего лица, затем развитие действия и, наконец, заключительную развязку, иногда с последующими нравоучениями. Само повествование в Хронографе прерывалось риторическими вопросами, которые должны были поддерживать интерес повествования. Риторическая шумиха и бесконечное морализирование поднимали на ходули исторические события, лишали

их той эпической документальности, которой отличались записи русской летописи. Вся мировая история в изложении Хронографа - цепь нравоучительных историй, рисующих неслыханные злодеяния, невероятные подвиги благочестия, мученичество праведных и преступления нечестивых. Чудесные события, предвещения, указания на символическое значение событий обильно насыщают повествование.

Действующими лицами Хронографа, наряду с императорами, церковными властями, царями, полководцами, пророками, были и безымянные герои, что явилось совершенною новостью для проникнутого духом историзма русского летописания, всегда точного в определении тех лиц, о которых велось повествование. В Хронографе нередко действует "некий человек разумен"³⁰, "воин некий блуден зело"³¹, "некие же мужие"³² и т. д. Об известных исторических лицах Хронограф говорит как о неизвестных: "сей" Троян, "сей" Констанций и т. д.

Историческое лицо интересно составителю Хронографа не само по себе, а лишь как пример для нравоучения. История - цепь анекдотов, занимательных и поучительных. Хронограф делится не на годовые статьи, как русская летопись, а на ряд рассказов с законченным повествовательным сюжетом. Это - небольшие новеллы, оканчивающиеся эффектной развязкой: наказанием за содеянное, смертью героя, сопровождаемыми нравоучительными сентенциями, составляющими существенную сторону изложения Хронографа. Обычно это раздумье над превратностью исторической действительности, над бренностью всего земного. Так, например, в повествовании о "царстве Коньстянтина Дуки" освобождение Романа из тюрьмы и женитьба его на царице сопровождаются антитезой дворца и тюрьмы, кандалов и царских "бисерных" одежд, "худой" тюремной постели и царского брачного одра. Заканчивалось повествование характерным афоризмом; "Таковы ти суть твоа игры, игрече, коло (колесо) житейское!"³³

Эти нравоучительные сентенции не только замыкают статьи Хронографа - они сопровождают собою все изложение. Автор как бы руководит читателем, постоянно обращая его внимание на моральную сторону событий, на их "сокровенный", "вечный", вневременный смысл. Рок, судьба, всеилие бога и бессилие человека - вот темы авторских ремарок. Человека, "обладаемого" божьими "крепкими руками", никто не может убить раньше "уреченнаго времени"³⁴. Автор иронизирует над усилиями людей достичь недостижимого.

Тема "казней божиих" активно звучала и в русских летописях XI- XIV вв., но имела иной характер. Слово "О казнях божиих", помещенное в Повести временных лет под 1068 г., говорило о наказании всех людей, о наказании, общем для всего народа или государства. Эти страшные кары в виде нашествия врагов, голода, стихийных бедствий посылались богом лишь за многие грехи и сравнительно редко. Изложение исторических событий не предусматривало в русской летописи немедленного вмешательства бога. Исключения были очень редки и главным образом во вставных произведениях (наказание Святополка в Житии Бориса и Глеба, наказание Владимирки в Повести Петра Бориславича и др.). Между тем в Хронографе наказание за грехи постоянно наступало немедленно, оно было личным, возмездие с неизбежностью следовало за проступком, и на этом строилось в основном всё историческое повествование. В русских летописях наказание народа за грехи -

наказание, вызывающее сочувствие читателя; в Хронографе наказание исторического лица - возмездие, приносящее нравственное удовлетворение читателю. Эти наказания всегда эффектны: мучителя Диоклитиана постигла страшная кара - его язык сгнил, тело его "кипело" червями, он "изрыгнул" злую свою душу, "рыкнув яко лев"³⁵.

Сами по себе исторические события занимают в Хронографе подчиненное положение. Не события, а личности властителей привлекают к себе внимание автора: "Царство Кунтилово", "Царство 36 Авриллианово", "Царство 37 Такитово", "Царство Провово и Флориане", "Царство 39 Кара и Карина, сына его и Нумириана"³⁶; таковы обычные заголовки статей Хронографа. В русских же летописях основную тему изложения составляет не личная человеческая судьба, а история народа и государства (в средневековом их понимании).

Хронографические статьи открываются обычно характеристикой властителя. Дальнейшее изложение строится как вывод из этой характеристики, как ее иллюстрация или неизбежное следствие его личного поведения. Вот, например, рассказ о царствовании императора Трояна. Троян царствовал в Риме девять лет; он был "мужь воиничен и победоносен, терпелив и храбр, в судах праведен и неуклонен, мерило правде". Затем идет изложение подвигов Трояна и нравоучительный рассказ о том, как Троян дал своему епарху меч со словами: "...если незаконно царством владею, то ударь меня мечем этим и не пощади моей жизни; если же законно и хорошо правлю суд, то имей этот меч, чтобы мстить за меня врагам". Заканчивался рассказ о Трояне нравоучительной сентенцией на тему о беспощадности смерти: "...но и сей убо изчезе от жития, во многих пожив победах"³⁷. Перед нами, следовательно, личная биография императора, иногда сведенная только к характеристике его деятельности³⁸.

Естественно, что Хронограф в этих биографиях не стремился к полноте и исторической точности. В отличие от русской летописи, хронографические статьи полны баснословного и анекдотического материала, чудес, видений, вещих снов и т. д. Поскольку личность властителя является основной причиной исторических событий, его характер рисуется обычно в Хронографе с необычайной силой экспрессии. Император - либо злодей, действующий по наущению дьявола, либо герой добродетели. "Поставиша Фоку царем, о горе! - пса беснаго, мужа разбойника, люта и гневлива и убийством дышуша"³⁹, - говорится о Фоке Мучителе. В прямо противоположных чертах дана характеристика Цимисхия: "Другый бяше рай божий, четыре реки источаа: правду, мудрость, мужество, целомудрие"⁴⁰.

Христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Злоба, ярость, гнев, зависть, гордость двигают поступками злых. Благодетель и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благодетельности, подвигнутые на то ревностью к добру. Отсюда необычайная экспрессивность характеристик, отсюда гиперболы, стремление к грандиозности изображения, проникающее и подавляющее изложение.

Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди проливают "тучи слез", плачут по восьми месяцев: "...и рукама

терзаше власы, и браду, и главою ударяя, и слезами моча землю"⁴¹. Гнев, зависть служат иногда причиною смерти человека⁴². Одержимые страстями люди бессильны совладать с ними. Страсти персонифицируются, предстают в образе диких зверей⁴³. Образы звериного мира, примененные к объяснению человеческой психологии, не случайны в Хронографе.

Вся вселенная, с точки зрения средневекового мировоззрения, представляет собою грандиозное "училище благочестия", в котором каждое живое существо является носителем какого-либо скрытого назидательного смысла. Животные символизировали собою человеческие страсти, ереси, вечные истины. Епифаний Кипрский в полемическом сочинении "Аптека" стремится дать целую "аптеку" с полезными лекарствами от "угрызения" ядовитых животных и пресмыкающихся, под которыми разумеются ереси⁴⁴. Вот почему в средние века получают чрезвычайное развитие зоологические сказания различных "физиологов" (сборников "естественнонаучных" рассказов), звериный орнамент, животные сюжеты архитектурных "прилепов" и т. д.

Те же части Русского Хронографа, которые восходят по своему происхождению к Хронике Манассии, обильно насыщены материалом "физиологических" сказаний. Свойства человеческого характера, представленные в звериных образах (ярость - лев, хитрость - лисица), и самые люди, сближаемые со зверями, получили назидательное истолкование с помощью рассказов "Физиолога". Иногда сравнения со зверями даны в обычной манере афоризмов⁴⁵, иногда же сравнения даются в виде развернутых картин. Так, например, император Никифор Ватаниот, женившийся в старости, пространно сравнивается с златоперой "кикнос", которая, прежде чем сойти в старости в гроб и "скрытися", начинает веселиться⁴⁶.

Обильные сравнения, приводимые в Хронографе из мира животных, имеют в виду главным образом людские поступки, действия. Они придают изложению необычайную динамичность, усиливают его экспрессивность. "Изскочи убо Роман, яко зверь ис тенеть и яко орел из сети"⁴⁷. "Огненный дерзостью" Фома наскочил на своего противника "с великим стремлением, яко вепрь из луга и дубравы многодревны, или щенець питаем в горах лвица лютыя и кровоядныя"⁴⁸.

Все движется и живет в повествовании Хронографа. События описываются в нем в резких красках, сравнения из области звериного мира экспрессивны, при этом изложение обильно насыщено психологическими характеристиками. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Если царь зол, то и рать его "злоратная"⁴⁹, стража его - "злостража"⁵⁰, сильный ветер "свереподыханен"⁵¹ и т. д. Многочисленные эпитеты, всегда оценочные, назойливо сопровождают изложение. Земля не выносит злодейств императора Фоки Мучителя и испускает "безгласные вопли" на "тигропардоса беснаго"⁵². При ослеплении императора Константина "стихия бо сами о беде плакаху"⁵³. Как одушевленные существа ведут себя и города - Рим⁵⁴, Константинополь, Антиохия⁵⁵, Иерусалим⁵⁶.

Мир всепожирающих зверей, мчащиеся облака, тучи, ветры, бушующее море и отзывающиеся его прибою берега, молнии, звезды, луна, солнце - всё полно

одушевленного движения, втянуто в ход истории. Всё смято, всё ужасно, всё полно тайны и сокровенного смысла.

При этом ничто не стоит. Хронограф описывает только действия, поступки. Внутренний мир людей раскрывается через их действия. Храбро-душие было заключено в сердце Фоки, как головня в пепле, когда же пришло время действию и когда колесо "злотекущего естества" поставило Фоку на колесницу царства, тогда Фока, раскололся, как молния, и обтек все варварские племена, как огонь, который, попав "во юдоль многодревну", гонимый ветром, проходит повсюду, пожирает сад и пополяет холмы.

Эти настойчиво повторяющиеся сравнения и сближения с явлениями природы и самые отклики природы на события человеческой жизни усиливают драматичность повествования, его психологизм. Эта драматичность повествования, своеобразный панпсихологизм, обилие психологических характеристик - всё это находится в неразрывной связи с общей эмоциональной приподнятостью изложения. Художественный метод изображения человека проникает весь стиль изложения. Хронограф постоянно пишет о чувствах героев и обращается к чувствам читателей. Слезы, рыдания, плач - обычны в изложении исторических событий. Особую эмоциональность придают изложению авторские восклицания, вносящие в него субъективизм: "О горе!"⁵⁷; "О всевидящее солнце!"⁵⁸; "О зависти, зверю лютый!"⁵⁹; "О солнце и земле!"⁶⁰; "Оле, божиих судеб"⁶¹; "Оле, оле, доброненавистная душа! Увы, увы, разуме зверовидный"⁶².

Иногда эти восклицания переходят в длиннейшие тирады как бы не сумевшего сдержать своих чувств автора. Эти тирады посвящены обычно какой-либо одной нравоучительной мысли: всемогуществу жестокой смерти, бренности всего земного, могуществу золота и т. д. "О злато, гонителю и мучителю прегордый, градовом разорителю! О злато, умягчаеши жестокаго, а мягькаго ожесточаеши, язык отврязаеши безгласному, а глаголивам у затыкаеши уста, блещанием своим в желание улавляеши сердца, яко и камение мягко твориши! Хто от пресильныя твоеа крепости может избежати?"⁶³ Или: "О зависти, зверю лютый, разбойниче, гонителю, скорпиие (скорпион) многожалная, тигру человекоснедный, былка смертная!" Разразившись этой тирадой, автор оправдывается в своей несдержанности: "...горесть бо душевная глаголати принужает"⁶⁴. Такие отступления придают всему повествованию Хронографа исключительную эмоциональность.

Автор как бы не может удержать своих чувств, он одержим необходимостью высказаться. Чувства, а не рассудок владеют его пером, он подавлен грандиозностью событий, героизмом благочестивых, подлостью злых. Речь его превращается в сплошной поток: образы, сравнения, эпитеты заполняют текст. Автор не находит точных, необходимых слов для выражения своих мыслей: он нагромождает синонимы, уснащает речь сравнениями, обильно пользуется неологизмами и т. д., и т. п. Отсюда неопределенность выражений, как бы не отлившихся еще в законченную форму. Отсюда поиски слов и неотвязно повторяющаяся мысль о бессилии человеческого языка выразить переживаемые чувства: хронист отказывается описать "храбрьства красная добрых царей" и "мужь храбрых" - "их же не мочно языком житиа преплутити"⁶⁵.

Автор постоянно подбирает слова и стремится дать как можно больше синонимов: "зловозвещница и чародейница и зловолшебная пророчица"⁶⁶, "разжизаньми бо и разгоренми плотскими цветяще"⁶⁷, "благообразень и доброзрачен"⁶⁸, "долголетен и стар"⁶⁹, "тяжкошумящий и съверепогласящий"⁷⁰ и т. д. Очень часто употребляются полусинонимические сочетания. Так, например, о Василии царе рассказывается, что он отвращался еды и отринул "гладкое", "покоищное" и "слабое" житие, возлюбил же "жестокое" и "бридкое" дело, возлюбил оружие, щиты, шлемы и стрелы "больше услаждающих капель меда и вина"⁷¹.

Из языка Хронографа изгнаны столь обычные в русской летописи просторечные выражения, дипломатические, юридические, ратные термины, даже просто прямые обозначения бытовых явлений. Они заменены перифразами; речь приподнята, торжественна, она сближена с языком проповеди, житий, богослужения. Постоянные и обильные перифразы насыщают речь такими словами, как "сиречь", "рекше", "сице": "доброводный Истр сиречь Дунав"⁷², "на свет произвести... клас, рекше сына родити"⁷³.

Нагромождение синонимов, перифраз составляет необходимую черту крайне эмоциональных характеристик действующих лиц. Так, например, император Роман был "жесток, гневлив, горд, яролюбив, самомудр..."⁷⁴ Эпитеты почти отсутствуют в русских летописях. В Хронографе, напротив, эпитет составляет существенный элемент стиля, при этом, как вообще в средневековой литературе, эпитет всегда выделяет основные, наиболее постоянные качества объекта: "мясоедный лев"⁷⁵, "тольстотрапезная гостьба" (т. е. угощение)⁷⁶ - и иногда включает элементы тавтологии: "тяжкогневная ярость"⁷⁷, "многовоздыханная стенания"⁷⁸ и т. д., и т. п.

Составленный мозаично, из различных источников, Русский Хронограф представлял собою в целом произведение единое и стилистически, и идейно. Это единство Хронографа было тесно связано с новым отношением к человеку, к исторической личности, к внутренней жизни человека. Составителя Хронографа интересовала по преимуществу человеческая психология, его изложение было пронизано субъективизмом, он заботился о риторической приподнятости стиля.

Хронографический стиль в изображении людей оказал значительное влияние на летопись и на историческое повествование времени "Смуты"⁷⁹. Этот стиль постепенно развивался, и в Хронографе третьей редакции дал, как мы уже отмечали в первой главе, наиболее яркое проявление того, что мы назвали "открытием характера".

3

"Абстрактный психологизм", свойственный житийной литературе конца XIV-XV вв., Русскому Хронографу, проникающий во все формы исторического повествования, сказывается и в живописи этого времени. Новгородские и псковские фрески XIV в. (снетогорские, мелётовские, сковородские, Спаса на Ильине, волотовские, Федора Стратилата, Спаса на Ковалева и т. д.) отличаются той же преувеличенной эмоциональностью, экспрессивностью, стремлением передать бурное движение, абстрагировать образы людей, архитектурный стаффаж и пейзаж. Человеческие фигуры как бы невесомы, охвачены сильным движением, напоминают собой цветные

тени, призраки, разметанные по стенам храма как бы сильным ветром. Люди изображаются точно летящими по воздуху в экстатическом порыве с сильно развевающимися одеждами. Они передаются во всевозможных ракурсах, их жесты широки, резки, они всецело объаты овладевшими их чувствами.

Характеризуя фрески Болотова, Б. В. Михайловский пишет: "Фигуры на волотовских фресках кажутся реющими в дымке, тающими, призрачными... У новгородских фрескистов и Феофана изображаемый материальный предмет выглядит "феноменом", иллюзией, созданной творящим духом и готовой вот-вот рассеяться"⁸⁰. М. В. Алпатов отмечает, что изображения людей полны "доходящим до исступления состоянием возбужденности и взволнованности"⁸¹.

Интерес к внутренней жизни человека сказывается в живописи и в самом выборе сюжетов. Среди сюжетов, типичных для живописи XIV-XV вв., следует отметить прежде всего глубоко человеческие и тонко психологические сюжеты протоевангельского цикла: композиции, иллюстрирующие легенды и апокрифы из жизни богородицы⁸². Излюбленный сюжет XIV в. - "Христос во гробе" (росписи Болотова, Ковалева, Благовещения на Городище, в ряде икон). Сюжет этот чрезвычайно эмоционален, чувства выражены в нем обычно с большой экспрессией. Эта экспрессия, драматизм, крайняя эмоциональность поражают зрителя во всех новгородских фресках XIV в., каких бы тем они ни касались: успение богородицы, положение во гроб, вознесение, сошествие во ад, вход в Иерусалим, рождество Христово, рождество богородицы и т. д.

Во всем этом русская живопись XIV в. близко сходится с русской литературой XIV в., хотя эта связь, само собой разумеется, может быть отмечена только в самой общей форме: там, где литература и живопись соприкасаются между собой в сфере художественного видения мира и идеологии. Но есть и отличия: новые веяния в русской живописи вследствие интернациональности языка изобразительного искусства сказываются очень рано - уже в начале и середине XIV в. (фрески Снетогорского монастыря 1313 г. и фрески Михайло-Сковородского монастыря середины XIV в.)⁸³, тогда как в литературе черты новой южнославянской манеры появляются не ранее конца XIV в. Может быть, именно потому, что в живописи черты нового сказались раньше, чем в литературе, - в ней они оказались и более зрелыми. В частности, в живописи может быть отмечен гораздо больший интерес к индивидуальному, чем в литературе. Вот что пишет о творце волотовских росписей Н. Г. Порфиридов: "Мастеру хочется индивидуально характеризовать каждое изображаемое лицо. Имеют свои, непохожие друг на друга, облики пророки. Неожиданны в их острой характеристике цари Давид и Соломон, в особенности последний. Большое человеческое разнообразие придано святителям в алтаре. Изображения двух новгородских владык-ктиторов, Моисея и Алексея, отмечены чертами портретности. Мастер сумел индивидуализировать, предварительно очеловечив, даже ангелов"⁸⁴. Сходную индивидуализацию отдельных образов отмечает Н. Г. Порфиридов и для росписей Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине: "Щедро рассыпанное в Болотове мастерство индивидуальных характеристик в живописи Спаса достигает совершенно изумительного уровня. Пророки в барабане здания, святители в диаконике, в особенности святые в северо-западном приделе на хорах (Макарий, Акакий, столпники) являются образцами острых психологических

характеристик, способных казаться почти невероятными для своего времени. В этой любви к характерному, почерпнутому из жизненных наблюдений, чувствуются эллинистические традиции. Отдельные типы и головы фресок Спаса (как и Болотова) по силе и выразительности не уступают созданиям великих мастеров Возрождения, микеланджеловской силе"⁸⁵.

Тот же интерес к человеческой индивидуальности может быть отмечен и для других росписей XIV в.: церкви Рождества на Красном Поле, Михайло-Сковородского монастыря, Спаса на Ковалеве.

Чем объяснить появление нового стиля изображения человека в конце XIV-начале XV в.?

Структура человеческого образа в произведениях конца XIV- начала XV в. находится в неразрывном единстве со всем стилистическим строем русской литературы этого времени, с ее содержанием, с философско-религиозной мыслью своего времени, с теми изменениями, которые претерпевало в это время изобразительное искусство. Должно быть учтено также культурное общение Руси этого времени с южнославянскими странами и Византией. В особенности должно быть отмечено влияние исихазма, о котором мы писали выше. Проблема очень широка и может быть решена только в совокупности всех своих сторон.

На одном наблюдении мне все же хотелось бы остановиться.

Структура человеческого образа в XII-XIII вв. была теснейшим образом связана с иерархическим устройством класса феодалов. Люди расценивались по их положению на лестнице отношений внутри феодального класса. Каждый из изображаемых людей был прежде всего представителем социального положения, своего места в феодальном обществе. Его поступки рассматривались прежде всего с этой точки зрения.

Для конца XIV-XV в. характерен идейный кризис феодальной иерархии. Самостоятельность и устойчивость каждой из ступеней иерархии были поколеблены. Князь может перемещать людей в зависимости от их личных качеств и заслуг. Центроостремительные силы начинали действовать всё сильнее, развивалось условное держание земли, на сцену выступали представители будущего дворянства. Всё это облегчило появление новых художественных методов в изображении человека, по самому существу своему никак не связанного уже теперь с иерархией феодалов. Государству нужны были люди, до конца преданные ему,- личные качества их выступали на первый план. На первый план выступали такие качества, как преданность, ревность к делу, убежденность.

Внутренняя жизнь, резко повышенная эмоциональность как бы вторглись в литературу, захватили писателей и увлекли читателей.

Это развитие психологизма, эмоциональности было связано также и с развитием церковного начала в литературе.

В отличие от светских жанров (летописей, воинских повестей, повестей о феодальных раздорах и т. д.), в церковных жанрах (в житиях и в проповеди) всегда

уделялось гораздо большее внимание внутренней жизни человека, его психологии. Однако в предшествующую эпоху стиль монументального историзма сказывается и в житиях (например, в житиях княжеских - Бориса и Глеба, Владимира Святославича Святого, Александра Невского и др.), хотя и выражен не так отчетливо, как в светских жанрах.

Союз церкви и государства способствовал постепенному оцерковлению всех жанров. Особенно усиливается церковное начало в литературе в эпоху татаро-монгольского ига и главным образом с того времени, как среди татаро-монгольских орд распространилось мусульманство. Борьба с татаро-монгольским игом становится не только национальной, но и религиозной задачей. Татары в летописи конца XIV-XV в. постоянно называются агарянами, измаилтянами, сарацинами. В месте сбора русских войск в Коломне на пути их против Мамаю предварительно воздвигается самый крупный из всех русских храмов того времени - Успенский⁸⁶. Тем самым походу русских войск придавался религиозный характер.

¹ В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908, стр. 232.

² Пахомий Серб в похвале Варлааму Хутынского (там же, стр. 253).

³ Житие св. Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб., 1897, стр. 102. Примеры аналогичных высказываний у Пахазомия Серба см. в указанной работе В. Яблонского (стр. 232).

⁴ Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. VI, СПб., 1853, стр. 109.

⁵ Житие св. Стефана, стр. 1.

⁶ Житие св. Стефана, стр. 37.

⁷ Житие св. Стефана, стр. 25.

⁸ В. Яблонский. Указ. соч, стр. 251.

⁹ Житие преп. Сергия Чудотворца. Сообщил архим. Леонид. СПб., 1885, стр. 115-116.

¹⁰ М. С. Боровкова-Майкова. Нила Сорского предание и устав. СПб., 1912, стр. 16 и сл.

¹¹ См. в повести об ослеплении Василька Тереховского: "...и испи воды, и вступи вонь душа, и упомянуса" (Повесть временных лет, т. I. М.- Л., 1950, стр. 173).

¹² Житие св. Стефана, стр. 91.

¹³ Житие св. Стефана, стр. 18.

¹⁴ Житие св. Стефана, стр. 22.

¹⁵ ПСРЛ, т. VI, стр. 110.

¹⁶ Житие св. Стефана, стр. 57.

¹⁷ ПСРЛ, т. VI, стр. 106. Разрядка моя - Д. Л.

¹⁸ Житие св. Стефана, стр. 109.

¹⁹ Житие св. Стефана, стр. 27.

²⁰ Житие св. Стефана, стр. 52.

²¹ Житие преп. Сергия Чудотворца, стр. 11.

²² Житие преп. Сергия Чудотворца, стр. 12.

²³ Житие св. Стефана, стр. 53.

²⁴ А. А. Шахматов. Обзорение русских летописных сводов XIV-XV вв. Л., 1938, стр. 135 и сл.

²⁵ Сам составитель Хронографа называет Еллинский летописей, в качестве своего источника: рассказав о походе Олега, он прибавляет: "...сие пишет о нем в Греческом летописие". Об Еллинском летописце второй редакции см.: А. А. Шахма тов. Древнеболгарская энциклопедия X века. Византийский временник, т. VII, 1900; В. М. Истрин. Из области древнерусской литературы. Журн. Мин. нар. просе., 1903, № 10; А. А. Шахматов. Новая хронологическая дата в истории русской литературы. Журн. Мин. нар. просе., 1904, № 1; К. К. Истомина. Слово о немецком прельщении. Христианское чтение, 1904, № II; К. К. Истомина. Некоторые данные о протографе Еллинского летописца. Журн. Мин. нар. просе., 1904, № 7.

²⁶ А. А. Шахматов. К вопросу о происхождении Хронографа. Сборник II Отд. Академии наук, т. LXVI, № 8, СПб., 1899, стр. 70.

²⁷ Как это доказано Ягичем - в Феодосиевой, а не Доментиановской редакции (W. Jagitsch. Ein Beitrag zur serbischen Analistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung. Archiv fur slav. Philol., Bd. II, 1877, стр. 37).

²⁸ А. А. Шахматов предполагает, что эти летописи были ростовские. М. Д. Приселков утверждает, что это был свод Фотия (История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940, стр. 148).

²⁹ В одном из списков XVI в. (список Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, собр. Ундольского, № 515), где в приложении к сказанию о Михаиле и Федоре Черниговских также имеется эта повесть, добавлено: "Творение ермонаха Пахомия св. Горы". Повесть об убиении Батюя приписана Пахомию впервые В. Ключевским (Древнерусские жития святых. СПб., 1871, стр. 147).

- ³⁰ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 309 (из Хроники Амартола). Ниже при цитировании указываем, из какого источника вошла в Хронограф та или иная цитата.
- ³¹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 307 (оттуда же).
- ³² Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 270 (оттуда же).
- ³³ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 377 (из Хроники Манассии).
- ³⁴ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 288 (оттуда же).
- ³⁵ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 262 (из Хроники Амартола).
- ³⁶ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 260 (оттуда же).
- ³⁷ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 254 (оттуда же).
- ³⁸ См., например, описание царствования Михаила Рагавея, сведенное к его личной характеристике (там же, стр. 330-337), из Хроники Манассии).
- ³⁹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 302 (оттуда же).
- ⁴⁰ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 363 (оттуда же).
- ⁴¹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 282 (из Хроники Амартола).
- ⁴² "Увидев же его Коньстантие самодержжеством препоясавшася, яростию разжегся зело. И сего ради в недуг зол впаде и умре" (там же, стр. 274, оттуда же).
- ⁴³ "От начала убо обьяжи Фока зверя горкосердаго, внутрь сокровенаго, бяше бо нравы убийиа, сластолюбив, свирепобразен, пианица, скорогневлив, кровопийца, яко тяжкоумный лев плоти снедати погубляемых человек и крое пити сладчайши мьста вменяше" (там же, стр. 302, из Хроники Манассии).
- ⁴⁴ А. Иванцов-Платонов. Ереси и расколы первых трех веков христианства. М., 1877, стр. 297.
- ⁴⁵ "Царь бо, не имея многоб агатного, подобен есть орлу приветху и престару, не имущю периа и ноктей и клюна" (ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 351, из Хроники Манассии).
- ⁴⁶ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 381 (оттуда же).
- ⁴⁷ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 379 (оттуда же; ср. характеристику князя Романа Галицкого в Ипатьевской летописи, под 1201 г., и др.).
- ⁴⁸ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 336.
- ⁴⁹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 303 (из Хроники Манассии).
- ⁵⁰ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 381 (оттуда же).
- ⁵¹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 304 (оттуда же).
- ⁵² Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 303 (оттуда же).
- ⁵³ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 324 (оттуда же).
- ⁵⁴ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 325 ("Повесть о латинех, как отступиша от православных патриарх").
- ⁵⁵ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 359.
- ⁵⁶ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 332 (из Паралипомена Зонары).
- ⁵⁷ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 354 (из Хроники Манассии).
- ⁵⁸ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 318 (оттуда же).
- ⁵⁹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 297 (оттуда же).
- ⁶⁰ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 345 (оттуда же).
- ⁶¹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 316 (оттуда же).
- ⁶² Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 317 (оттуда же).
- ⁶³ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 301 (оттуда же).
- ⁶⁴ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 297 (оттуда же).
- ⁶⁵ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 381 (оттуда же).
- ⁶⁶ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 378 (оттуда же).
- ⁶⁷ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 376 (оттуда же).
- ⁶⁸ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 370 (оттуда же).
- ⁶⁹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 380 (оттуда же).
- ⁷⁰ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 365 (оттуда же).
- ⁷¹ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 365 (оттуда же).
- ⁷² Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 363 (оттуда же).
- ⁷³ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 375 (оттуда же).
- ⁷⁴ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 380 (оттуда же).
- ⁷⁵ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 318.
- ⁷⁶ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 298 (оттуда же).
- ⁷⁷ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 324 (оттуда же).
- ⁷⁸ Русский Хронограф, ПСРЛ, т. XXII, СПб, 1911, стр. 313 (оттуда же).
- ⁷⁹ В. Л. Комарович. "Смутное время" в изображении литературных памятников 1612-1630 гг. В кн.: История русской литературы, т. II, ч. 2. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. М.- Л., 1948, стр. 47
- ⁸⁰ Б. В. Михайловский и Б. И. Пуришев. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в. М.- Л., 1941, стр. 24.
- ⁸¹ М. В. Алпатов. Фрески храма Успения на Волотовом поле. "Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР", сборник статей под ред. акад. И. Грабаря, М.- Л., 1948, стр. 135.
- ⁸² См. об этом; Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI-XV вв. М. - Л., 1947, стр. 277.
- ⁸³ В датировке фресок Михайло-Сковородского монастыря соглашаемся не с Ю. А. Олсуфьевым, относившим их к концу XIV в. Ю. А. Олсуфьев. Вновь раскрытые фрески в Новгороде. "Архитектурная газета", 1937, 18 октября), а с В. Н.

Лазаревым, относящим их к концу 50-х годов XIV в. (В. Н. Лазарев. Росписи Сквородского монастыря в Новгороде - "Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР", сборник статей под ред. акад. И. Грабаря. М. - Л., 1948, стр. 91 и ил., особенно стр. 100; История русского искусства. Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева, т. II, М., 1954, стр. 142).

⁸⁴ Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород, стр. 280-281.

⁸⁵ Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород, стр. 287.

⁸⁶ Н. Н. Воронин. К характеристике архитектурных памятников Коломны времени Дмитрия Донского, "Материалы и исследования по археологии СССР", № 12, 1950.